



## Вадим КОЖИНОВ

### Пушкин и Чаадаев

К истории русского самосознания

Понимание творчества Поэта в его взаимосвязи с творчеством крупнейшего мыслителя эпохи имеет, как представляется, первостепенное или даже, пожалуй, исключительное, уникальное значение для понимания духовного развития России в целом. Правда, неопределимое значение этой «темы» выявляется только при условии осознания истинного смысла чаадаевской историософии (то есть философии истории), действительного характера эпохи, которую мы склонны называть «пушкинской», и, наконец, реальных отношений двух ее великих деятелей. А надо прямо сказать, что все это либо недостаточно изучено, либо толкуется заведомо неверно. Поэтому нам придется обращаться ко многим — иногда кажущимся, может быть, уведящими в сторону — идеям и фактам.

В своей заслуженно чтимой «пушкинской» речи «О назначении поэта» (1921 г.) Александр Блок говорил, что «жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы»\*.

Главный симптом «ослабления» культуры Блок видел в том, что «над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского... Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку»\*\*. Ранее поэт написал о влиятельнейшем критике России: «Пусть Белинский был велик и прозорлив во многом: но...

\* Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 6. С. 166.

\*\* Там же. С. 166, 167.

он, может быть, больше, чем кто-нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская интеллигенция покатила вниз по лестнице своих российских *западнических* надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больше — о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917—1918 годов»\*.

Верна и глубока мысль о том, что пушкинская пора — «единственная культурная эпоха». Это было время *творения* культуры, а начиная с «роковых» 1840-х годов культуру все в большей степени стремятся превратить в орудие идеологической *борьбы* (хотя, конечно же, истинное культурное творчество продолжалось), что объяснялось в конечном счете неотвратимым приближением революции. Ведь поток испытывает воздействие близящегося водопада задолго до того, как ему, потоку, предстоит низвергнуться в бездну, и то же самое можно сказать о движении, о развитии России за много десятилетий до 1917 и даже 1905 года.

«Критика» Пушкина (и всей культуры его поры) во имя *идеологии* крайне возмущала Блока, и в одной из своих статей он назвал Белинского — ни много ни мало — *«могильщиком»* русской культуры в ее высшем значении\*\*. Но вполне уместно упрекнуть поэта в том, что, отвергая идеологический экстремизм критика (недаром получившего прозвание — впрочем, давно опошлившееся, — «неистовый Виссарион»), сам он впал здесь в аналогичную экстрему.

Однако главное даже не в этом. Ведь именно Блок сказал так выразительно о «роковых сороковых годах», и, следовательно, винить надо не Белинского, а, как говорится, «эпоху»... К нашему времени атмосфера «роковых сороковых» изучена значительно полнее, чем при жизни Блока, и ясно, например, что идеологическая «критика» Пушкина характерна вовсе не только для Белинского и деятелей его круга.

Сопоставляя Пушкина с Гете, Белинский утверждал, что русский поэт «велик там, где он просто воплощает... свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов»\*\*\*, — имелись в виду, понятно, самые существенные «вопросы», которые «решали» Гете и другие крупнейшие поэты Запада. Но, по сути дела, точно такое же «принижение» Пушкина присуще (хотя этот факт не столь уж широко известен и поныне) идеологам противостоявшего Белинскому

\* Там же. С. 28. — Выделено мною. — В. К.

\*\* Там же. С. 117.

\*\*\* Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 288.

славянофильства. Так, соизмеряя Пушкина именно с тем же самым Гете, Хомяков счел возможным утверждать, что русский поэт в отличие от германского «не развил в себе высших духовных стремлений», что их «недоставало» в его «душе, слишком непостоянной и слабой...» \*

Разумеется, Белинский и Хомяков исходили в своих «приговорах» Пушкину из совершенно разных оснований. Белинский полагал, что Пушкина фатально ограничивал, как он писал, «недостаток современного европейского образования» \*\* (хотя, конечно же, «европеизм» Пушкина был неизмеримо глубже и полнее, чем соответствующее «образование» самого Белинского), а Хомяков, напротив, усматривал в поэте прискорбную «недостаточность» русского национального духа.

Даже в творчестве Гете, с которым они сопоставляли Пушкина, два идеолога выделяли существенно различные стороны. Для Белинского Гете — один из «великих *европейских* поэтов» \*\*\*, представитель имеющей всемирное значение цивилизации Запада (далеко-де превосходящей ограниченную узкими целями русскую), а для Хомякова — «высший представитель *Германии*» \*\*\*\*, то есть полнокровный национальный поэт; в Пушкине же русский характер, по мнению Хомякова, «никогда не развивался вполне: он робко выглядывал из-под чужих форм, не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя» \*\*\*\*\*. Стоит упомянуть, что эти упреки Белинского (в недостатке европеизма) и Хомякова (в недостатке «русскости») были высказаны почти в одно время (первый — в 1844-м, второй — в 1845 году).

Более того: два противостоявших идеолога прямо и непосредственно «сталкивались» на Пушкине. Оценивая основанную на фольклорной образности пушкинскую балладу «Жених», Белинский писал, что «мир, так верно и ярко изображенный в ней... так тесен, мелок и немногословен, что истинный талант недолго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были однообразны, скучны и, наконец, пошлы...» 6\*. Вскоре Хомяков не без гнева отметил этот «презрительный отзыв... об русской сказке и песне: в нем утверждали, — писал он, — что Пушкин... исчерпал все богатство нашей народной

\* Русское обозрение. 1897. № 2. С. 611.

\*\* Белинский В. Г. Указ. соч.

\*\*\* Там же. С. 292. — Выделено мною. — В. К.

\*\*\*\* Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 281.

\*\*\*\*\* Там же. С. 76.

6\* Белинский В. Г. Указ. соч. С. 365.

поэзии». Между тем, решительно возражал Хомяков, Пушкин, — а вслед за ним и Лермонтов, — «даже не поняли вполне ее (русской народной поэзии. — В. К.) неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка»\*.

Итак, наследие Пушкина в сороковых годах равно «атаковали» с двух противоположных сторон, и в этом выразался поистине роковой раскол русской мысли. Правда, и ранее, в 1810—1830-х годах, имело место подобное раздвоение, но, во-первых, в нем не было непримиримости (так, в русле единой декабристской идеологии без особых конфликтов уживались, по сути дела, «западническая» и «славянофильская» линии), а во-вторых, оно, это раздвоение, почти не затрагивало высших явлений культуры. При жизни Пушкина ему не противостоял (если брать это слово в его точном значении) ни один из наиболее значительных деятелей русской культуры — таких как Жуковский, Боратынский, Владимир Одоевский, Тютчев, Иван Киреевский, Кольцов, Гоголь и т. д.: все они, в частности, сотрудничали в пушкинском «Современнике». Имели место только отдельные предвестия будущего раскола — подчас, кстати сказать, весьма причудливые: в 1831 году Вяземский, например, с «западнических» позиций резко осудил стихотворения поэта «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», однако позднее Петр Андреевич оказался близким как раз славянофилам...

В послепушкинское же время раскол так или иначе проявляется на всех уровнях культуры и к тому же достигает нередко крайней остроты. Правда, через четыре с лишним десятилетия Достоевский провозгласил, — притом (что закономерно) именно в своей «пушкинской» речи: «О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение...», и тут же уточнил: «...хотя исторически и необходимое»\*\*. По-видимому, Федор Михайлович полагал, что «необходимость» к 1880 году уже отпала; однако раскол, обозначившийся за восемь десятилетий до 1917 года, отнюдь не преодолен и поныне — через восемь десятилетий после революционного взрыва...

В речи Достоевского доказывалось, что в Пушкине еще не было «великого недоразумения» или, иначе говоря, раскола, — в чем, в частности, и выразилась его гениальность. Но несколько не умаляя пушкинский гений, следует все же сознавать, что речь должна идти и об общем характере самой породившей Поэта «единственной культурной эпохи».

\* Хомяков. Указ. соч. С. 125–126.

\*\* Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 147.

Раскол, совершившийся в «роковых сороковых», нанес тяжкий ущерб всему духовному развитию России, — притом «великое недоразумение», которое столь наглядно выразилось в процитированных суждениях Белинского и Хомякова, в дальнейшем нарастало и обострялось. Ведь в конечном счете Белинский говорил лишь о том, что Пушкин не был западником (так сказать, «не дорос» до этого мировоззрения), а Хомяков — что поэт не стал славянофилом. И в данном случае оба идеолога, по сути дела, были совершенно правы...

Между тем позднее, по мере роста общенародного признания Пушкина, его упорно стремились представить в качестве заведомого западника, «европейца», или, напротив, — что, впрочем, бывало гораздо реже, ибо западническая идеология играла преобладающую роль, — превратить в славянофила.

Но поистине прискорбная участь постигла в условиях идеологического раскола творчество крупнейшего мыслителя пушкинской эпохи — Петра Яковлевича Чаадаева, который в общественном сознании был целиком и полностью превращен в «западника», даже в своего рода отца-основателя западничества. Правда, в этом в известной мере был повинен прежде всего сам мыслитель, опубликовавший в октябре 1836 года свое первое (из восьми) «философическое письмо», которое дало слишком много поводов для причисления его к «ненавистникам» России и безоговорочным поклонникам Запада.

Вскоре после появления в печати этого «письма», в конце 1836 года, Чаадаев, в сущности, выразил сожаление, что опубликовал, как он определил, «введение», чей истинный смысл должен был раскрыться «в труде, который остался неоконченным»; к тому же он так сказал об этой своей вводной статье: «Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в мыслях... было преувеличение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном великому народу... преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина»\*.

Однако эти авторские «поправки» были опубликованы в России лишь в 1913 году, когда давно сложившееся представление о Чаадаеве уже, так сказать, заостенело и никто не хотел его существенно изменять. Тем более что еще в 1884 году появилось в печати пушкинское послание Чаадаеву от 19 октября

\* Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. <Т. 1. С. 533, 536, 537.

1836 года (которое поэт, правда, не отправил адресату), где оспаривался ряд положений того самого «введения» и вроде бы подтверждалось мнение о «западничестве» Петра Яковлевича. Между прочим, Пушкин в этом своем послании давал понять, что чаадаевское «введение» (с его, по определению самого мыслителя, «нетерпеливостью», «резкостью», «преувеличениями») не следовало бы публиковать («...мне досадно, — писал Пушкин, — что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам» \*). Но о пушкинском послании еще пойдет речь; начать надо с вопроса о взаимоотношениях Пушкина и Чаадаева вообще, в целом.

Они познакомились в сентябре 1816 года и до ссылки поэта (май 1820-го) были в самом тесном общении. 9 апреля 1821 года, уже в Кишиневе, Пушкин, получив весточку от Чаадаева, писал о нем в своем дневнике: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя...» \*\*. Один из близких приятелей Пушкина отметил, что в юности поэт «естественно делался... с Чаадаевым мыслителем» \*\*\*. И философ XX века С. Л. Франк был, очевидно, прав, утверждая, что Чаадаев «пробудил в нем (юном Пушкине. — В. К.) строй мыслей более глубокий, чем ходячее умонастроение французского просветительства» \*\*\*\* (которое тогда господствовало).

В том же 1821 году поэт в посвященном Чаадаеву стихотворении так определял его роль в своем развитии: «Ты был целителем моих душевных сил... Твой жар воспламенял высокую любовь... ты всегда мудрец, а иногда мечтатель...», а беседы с Чаадаевым назвал «пророческими спорами».

Через десять лет, в продолжение которых поэт и мыслитель в силу различных причин общались весьма редко и мало, Чаадаев, отправив Пушкину свои шестое и седьмое «философические письма», сетовал (в послании от 17 мая 1831 года): «Это — несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами (стоит напомнить, что друзья обращались «на вы» только по-французски; по-русски они с первых лет знакомства были «на ты», — хотя Чаадаев был пятью годами старше. — В. К.). Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас и для других» \*\*\*\*\*.

\* Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 873.

\*\* Там же. Т. 8. С. 18.

\*\*\* А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 98.

\*\*\*\* А. С. Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 386.

\*\*\*\*\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 67.

Пушкин так отвечал Чаадаеву (6 июля 1831 года): «...мы продолжим наши беседы, начатые в свое время (в 1816 году. — В. К.) в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». О присланных Чаадаевым «философических письмах» Пушкин писал здесь же: «...изумительно по силе, истинности или красноречию... Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» (то есть поэту более по душе чаадаевские «образы», а не силлогизмы). Вместе с тем Пушкин отметил: «...я не всегда могу согласиться с вами»\*.

Через пять лет в своем неотправленном послании Чаадаеву поэт высказал целый ряд «несогласий» с опубликованным первым «письмом» мыслителя. И это впоследствии побудило многих комментаторов достаточно резко противопоставлять поэта и мыслителя. Так, один из первых биографов Пушкина, близкий славянофилам П. И. Бартенева, публикуя полемическое послание поэта к Чаадаеву, утверждал, что оно «надолго останется убедительной апологией Древней Руси и основных начал нашей жизни от навета недоброхотов» (то есть таких идеологов, как Чаадаев...). Усвоенное П. И. Бартенева представление о принципиальном «западничестве» Чаадаева побудило его прийти к выводу, что взаимоотношения поэта и мыслителя в 1830-х годах якобы разладились и чаадаевским свидетельствам о его неизменной близости с Пушкиным не следует, как он выразился, «доверяться». Однако С. А. Соболевский, который постоянно общался с поэтом в 1833—1836 годах, решительно возразил Бартенева: «Вздор, Чаадаев был одним из лучших друзей Пушкина...»\*\*

Кстати сказать, сам Чаадаев ясно видел, насколько отношение к нему Бартенева диктуется славянофильской ориентацией последнего, и не без горечи писал об этом С. П. Шевыреву, многозначительно утверждая, что дружба с Пушкиным «принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, *какого бы цвета оно ни было*»\*\*\* (это, в сущности, одно из основных определений той «единственной культурной эпохи», о которой говорил Александр Блок).

Необходимо подробно рассмотреть сам вопрос о «западничестве» Чаадаева. Как уже сказано, изолированное восприятие его

\* Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 10. С. 838.

\*\* Бартенева П. И. О Пушкине. М., 1992. С. 287, 372.

\*\*\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 273. — Выделено мною. — В. К.

первого «письма» вроде бы давало основания для причисления мыслителя к западникам. Правда, в этом «письме» есть фраза о декабристском бунте, которая решительно противоречит такой классификации: «...великий монарх (Александр I. — В. К.), приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и губительные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека»\*.

Прямо-таки замечательно, что при второй публикации этого «письма» в 1860 году в Париже крайний западник И. С. Гагарин под давлением другого эмигранта, одного из главных идеологов декабризма — Николая Тургенева, сделал в чаадаевском тексте «цензурные» изъятия: «Я по требованию Николая Ивановича, — признавался Гагарин, — вычеркнул “дурные идеи и роковые ошибки” и напечатал»\*\*. Впоследствии, в 1913 году, так же поступил издатель первого в России собрания сочинений Чаадаева М. О. Гершензон...\*\*\*

Оба издателя явно никак не могли допустить, чтобы устами Чаадаева принесенное с Запада определялось как «дурное» и «губительное» («роковое»). А в позднейшей, 1960-х годов, книге о Чаадаеве утверждалось, что у России, согласно-де взглядам мыслителя, «есть только один путь — духовное сближение с Западом»\*\*\*\*.

Так истолковывали чаадаевскую историософию уже в 1830-х годах и так продолжают «понимать» ее поныне. Никто не вдумался хотя бы в эти вот слова из этого самого первого «письма»: «...мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого». Из этого положения будто бы следовало, что русским необходимо заняться усвоением «традиций» Запада: между тем мыслитель не без иронии писал далее о тех, кто склонен к именно такой «программе»: «Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся... мы можем себе усвоить?..»

\* Там же. Т. 1. С. 330.

\*\* Там же. С. 694.

\*\*\* См.: Сочинения и письма П. Я. Чаадаева. М., 1913. Т. 1. С. 85; Т. 2. С. 117.

\*\*\*\* Лебедев А. Чаадаев. М., 1965. С. 163.

Эти положения не получили развития в самом «письме», но в другом сочинении Чаадаева, написанном в 1835 году (то есть еще до опубликования первого «письма»), совершенно недвусмысленно сказано (притом слова эти развивают, конкретизируют то, что выражено и в первом «письме»): «...нам нет дела до крутны Запада, ибо сами-то мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы нагоним их (именно в таком «решении» — суть, ядро западнических утопий. — В. К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов... Поэтому нам незачем бежать за другими: нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое... Тогда мы пойдем вперед»\*. (Уместно напомнить, что то же самое убеждение было присуще и Пушкину, который писал, например: «Поймите же... что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы... Не говорите: иначе нельзя было быть»\*\*. Последние слова выделены самим Пушкиным, возражавшим мнению о том, что все народы с необходимостью должны следовать по «западному» пути; естественно полагать, что это убеждение поэта сформировалось не без воздействия Чаадаева.)

Исходя из только что процитированных высказываний 1835 года, следует взглядеться и в его первое «письмо». Там нет столь же ясного тезиса о «другом начале цивилизации», присутствием России, но вполне определенно сказано о бесплодности попыток «нагонять» Запад, — попыток, неизбежно сводящихся к пустому «подражанию» и «заимствованию»: «В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошедших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же... не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих... Это естественное следствие культуры заимствованной и

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 323, 332; Т. 2. С. 96, 98. — Выделено мною. — В. К.

\*\* Пушкин. Указ. соч. Т. 7. С. 144.

подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса»\*.

Стоит отметить, что в опубликованном в 1836 году переводе первого «письма» заключительная фраза было достаточно верно передана так: «У нас нет развития собственного, самобытного...»\*\* Казалось бы, одно уже это высказывание должно было заставить задуматься об истинном смысле «программы» Чаадаева. Ведь он и в других местах своего первого «письма» выразил ту же мысль. Так, он написал, что его угнетает «положение», в силу которого русская мысль не останавливается «ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе одна за другой», и принимает участие «в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям»\*\*\* (я процитировал опять-таки перевод 1836 года). В другом своем сочинении, написанном еще в 1832 году (то есть за четыре года до появления в печати первого «письма»), но опубликованном впервые лишь в 1908 году, Чаадаев со всей определенностью утверждал:

«Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную окраску, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в нашем взгляде на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, вовсе не водчиняться воздействию других народов»\*\*\*\*.

Согласитесь, что воистину нелепо хоть в каком-то смысле причислять к западникам мыслителя, выдвинувшего такую «программу». Но ведь и в «злополучном», как назвал его сам Чаадаев\*\*\*\*\*, первом «письме» было достаточно определенно сказано о «пороке» России: он состоит, по убеждению мыслителя, в том, что (см. выше) «у нас нет развития собственного, самобытного», а вовсе не в том, что мы не идем по пути Запада. Почему же этого никто не увидел?

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 326.

\*\* Там же. С. 652.

\*\*\* Там же. С. 655.

\*\*\*\* Там же. Т. 2. С. 83.

\*\*\*\*\* Там же. Т. 1. С. 537.

Есть все основания утверждать, что читателями опубликованного в 1836 году «письма» была воспринята (и полностью заглушила подлинный его смысл) одна только предельно резкая, прямо-таки беспощадная *критика* положения в России, — критика, которую сочувственно или даже с восхищением встретили будущие западники и негодуяще либо с прямыми проклятиями — будущие славянофилы.

«Опыт времен для нас не существует, — объявил Чаадаев, — века и поколения протекли для нас бесплодно... мы миру ничего не дали... мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» \* и т. д. и т. п.

Как ни странно, этого рода суждения Чаадаева до сего дня служат поводом для причисления мыслителя к западникам; между тем нет сомнения — особенно если исходить из смысла «письма» в целом, — что Чаадаев ведет здесь речь об отсутствии в России именно собственной и *самобытной* мысли, которая должна вырасти из «опыта веков и поколений» российского бытия, а не усвоена извне, с Запада.

С западниками Чаадаева «сближает» только очень «резкая» и очень «преувеличенная» (по позднему признанию самого мыслителя) критика положения в России. Однако при достаточно внимательном анализе существа дела выясняется, что перед нами весьма своеобразная критика. И прежде всего необходимо понять, что это в конечном счете критика не страны, называющейся «Россия», а русского *самосознания*. Чаадаев усматривает в России отсутствие подлинной (имеющей, в частности, общечеловеческое значение) *мысли* (Россия — «пробел в интеллектуальном порядке»).

Помимо приведенных высказываний, именно об этом многократно заходит речь в первом «письме»: «...неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний»; «Всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики»; «Массы... не размышляют. Среди них имеется определенное число мыслителей, которые дают толчок коллективному сознанию нации (которое, замечу, и волнует Чаадаева прежде и более всего другого. — В. К.)... А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши

\* Чаадаев. Указ. соч. С. 330.

мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?..» и т. п. \*

\* \* \*

Необходимо учитывать, что существуют словно бы два «феномена»: Чаадаев как автор первого «письма» (толкуемого в качестве беспощадного и безнадежного «приговора» России) и Чаадаев как личность, как человек в его цельности — человек, являвшийся ближайшим и едва ли не наиболее ценным другом Пушкина, обладавший наивысшей образованностью и культурой, умевший покорить, очаровать даже не согласных с ним. Так, самый страстный славянофил Хомяков говорил о Чаадаеве: «...может быть, никому он не был так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце...» \*\*

Представление о Чаадаеве как о безусловно замечательном, принадлежащем к самой избранной русской «элите» человеке утвердилось рано и прочно. И тем, кто жаждал «проклинать» Россию, было чрезвычайно *выгодно* ссылаться на мнение *такого* человека.

Между тем, исходя из всей совокупности написанного Чаадаевым, невозможно оспорить, что в своей критике он имел в виду не Россию, а русскую мысль и, конечно, тот слой русских людей, который обладал возможностью для развития национальной мысли, то есть людей своего круга. Между прочим, об этом остроумно писал сразу после опубликования чаадаевского «письма» анонимный автор (как некоторые полагают, Хомяков): «...слова господина сочинителя (Чаадаева. — В. К.): “Где наши мудрецы, где наши мыслители? кто и когда думал за нас, кто думает в настоящее время?” (цитируется первый, 1836 года, перевод «письма». — В. К.) — сказаны им против собственного — в пользу общего — мышления. Он отрицает этим собственную свою мыслительную деятельность» \*\*\*.

К сожалению, этот отклик был опубликован лишь в 1986 году — ровно через полтора столетия... В дальнейшем я еще буду приводить существенные доказательства в пользу того, что чаадаевская критика направлена в адрес именно русских «идеологов» и, значит, его самого; он ведь прямо писал: «Кто из нас

\* Там же. С. 326, 327–328, 329.

\*\* Хомяков. Указ. соч. С. 340.

\*\*\* Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 453.

когда-либо думал...», конечно же, включая в это «нас» (то есть весьма узкий тогда круг людей) самого себя.

В то же время Чаадаев, как говорится, знал себе цену и полагал (это ясно хотя бы из его писем к Пушкину), что его мысль призвана стать первым реальным шагом к самосознанию России, которое должно иметь великое *всемирное* значение. Об этом свидетельствует и его переписка с одним из крупнейших западных мыслителей — Шеллингом. В 1832 году Чаадаев писал ему: «Затерянный в умственных пустынях моей страны, я долго полагал, что весь мыслящий мир движется в том же направлении, и великим был для меня тот день, когда я сделал это открытие». Более того, Чаадаев «дерзал» заявить прославленному немецкому философу: «...мне будет позволено сказать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы»\*.

Вынося «русскому уму» суровый приговор («мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли; мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума»), Чаадаев имел в виду *прошлое*, а не свое время (и тем более не будущее). Он был убежден (о чем еще пойдет речь), что русский ум «дозрел» — в том числе или, пожалуй, прежде всего в нем самом, Чаадаеве, — до всемирной роли...

Мне могут возразить, что в «письме» есть «критика» не только русской мысли, но и самой русской истории, вызвавшая, в частности, возражения Пушкина; но к этой стороне дела мы еще вернемся. А прежде необходимо установить следующее. Если основываться не только на первом «письме» (как ни печально, многие из тех, кто рассуждает о Чаадаеве, ничего другого из его наследия и не знают!), становится совершенно ясно, что резкость, даже беспощадность критики русского самосознания имеет свое глубокое оправдание: Чаадаев, как уже сказано, исходил из того, что время истинного, зрелого становления этого самосознания настало, и именно поэтому так безоглядно обличал его «дефицит». Ведь и не было бы смысла настоятельно требовать от своих соотечественников такого свершения, для которого они в данный момент еще не созрели...

Нет сомнения, что одним из главных (или даже самым главным) «показателей» зрелости русского самосознания явилось для Чаадаева творчество Пушкина. Весной 1829 года (то есть во время работы над своим первым «письмом», завершенной 1 де-

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 76 и 75.

кабря этого года) Чаадаев отправил поэту послание, в котором, называя его «гениальным человеком», призывал: «...погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей (то есть «гениальной». — *В. К.*). Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг» \* (слово «заблудившейся» имеет в виду, надо полагать, недостаток национального самосознания).

Через два года, в 1831-м, Чаадаев опять пишет Пушкину о том же самом: «О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него уже теперь все то, что, как я знаю, скрывается в нем...» По-видимому, Чаадаев написал это в июле-августе 1831 года в ответ на пушкинское письмо к нему от 7 июля, но — что было ему свойственно — не торопился отправить свое послание адресату. А 18 сентября, после знакомства с только что вышедшей брошюрой, где были опубликованы пушкинские стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», Чаадаев сделал следующее добавление к своему посланию (и тогда уже отправил его Пушкину):

«Я только что увидел два ваших стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот наконец вы — национальный поэт; вы угадали наконец свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать... Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране... Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал малую часть той силы, которая нами (то есть русскими. — *В. К.*) движет, другой раз угадаешь ее наверное всю. Мне хочется сказать: вот наконец явился наш Дант...» \*\*.

Здесь все чрезвычайно многозначительно. Во-первых, уже одно это рассуждение начисто опрокидывает бесосновательный миф о «западничестве» Чаадаева. Предшественники западничества А. И. Тургенев и П. Я. Вяземский (который, о чем уже говорилось, позднее был склонен как раз к «русофильству») не приняли этих пушкинских стихотворений и, в частности, спорили о них с

\* Там же. С. 66.

\*\* Там же. С. 70, 72–73.

Чаадаевым\*. Герцен впоследствии говорил (в «Былом и думах») о «негодовании», которое эти стихотворения Пушкина вызвали у «лучшей части нашей журналистики»\*\* («лучшей» означает, понятно, близкой Герцену). Во-вторых, «удовлетворение» Чаадаева — настолько глубокое, что он не берется его «выразить», — порождено именно воплощением в пушкинском «Клеветникам России» русского самосознания («в нем больше мыслей, чем их было высказано... за последние сто лет в этой стране»). Выше приведены слова Чаадаева: «...нам незачем бежать за другими; нам следует... понять, что мы такое... Тогда мы пойдем вперед». В письме к Пушкину — та же мысль: «...пусть их говорят (те, кто не принимает пушкинских стихотворений. — В. К.), а мы пойдем вперед...»

Идти вперед — это в данном случае значит осознавать истинный путь России, ее «идею», что, в свою очередь, неизбежно означает то или иное *противостояние* Западу, который идет принципиально иным путем. Пушкинские стихотворения 1831 года были вызваны попытками Запада (в лице его влиятельных идеологов) навязать России свою волю, в связи с тогдашним польским восстанием, — вплоть до угрозы военного вмешательства.

Чаадаев исключительно высоко ценил Запад, — о чем мы еще будем говорить. Но он ни в коей мере не мог согласиться с каким-либо западным диктатом в отношении России. Когда позднее, в октябре 1833 года, Николай I, находясь в Варшаве, произнес речь перед представителями польской знати, категорически отвергая попытки Запада повлиять на политику России, Чаадаев воспринял это прямо-таки восторженно. Он писал тогда же об этой императорской речи:

«Могучий голос, на этих днях раздавшийся в мире, в особенности послужит ускорению исполнения судеб наших. Пришедшая в остолбенение и ужас Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, *больше не принадлежим к Европе*: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась... в данном случае само Провидение говорило устами монарха»\*\*\*.

В России эти слова Чаадаева были опубликованы только в 1913 году, когда в его «западничестве» никто не сомневался и

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 31, а также: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 218.

\*\* Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. М., 1957. Т. 6. С. 326.

\*\*\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 99.

никак не хотел усомниться. Между тем эти (как и многие другие) суждения Чаадаева ясно говорят о том, что причисление его к западникам попросту абсурдно.

Грубейшее искажение подлинного смысла чаадаевской историософии объясняется в конечном счете тем, что в России готовилась грандиозная революция, и идеологи, так или иначе участвовавшие в этой подготовке, стремились «использовать» в своих целях все и вся. Ведь и в наследии Пушкина выдвигали на первый план произведения, написанные юношей, увлеченным декабристскими веяниями. Между тем в 1826 году в своем «Пророке» поэт сказал о деянии явившегося ему серафима, несомненно имея в виду и эти незрелые свои сочинения:

И он к устам моим приник,  
И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный и лукавый...

Ныне, когда мы начинаем обретать объективное понимание российской революции, необходимо увидеть в этом свете и все развитие отечественной культуры XIX—начала XX века. И начать наиболее уместно, пожалуй, именно с Чаадаева. Кстати сказать, некоторые основные положения этой моей статьи были высказаны (правда, менее «открыто», ибо «цензурные» условия не позволяли тогда поступить иначе) в статье, которую я опубликовал еще в 1968 году и которая вызвала долгую идеологическую «проработку»\*.

Но пойдем далее. В истории освоения чаадаевского наследия были попытки отхода от «общепринятого» толкования. Так, когда в 1860 году Н. Г. Чернышевский получил возможность познакомиться не только с первым «письмом», он написал статью, в которой со свойственной ему решительностью пересматривал «репутацию» Чаадаева, утверждая, что он не столько западник, сколько славянофил (что, впрочем, столь же неверно...)\*\*. Но статья эта не была опубликована. И в сущности, до сего дня господствует та трактовка чаадаевской историософии, которую не единожды высказывал исходивший только из первого «письма» (к тому же превратно понятого) Александр Герцен, утверждавший, что «письмо» является-де «мрачным обвинительным актом против России», говорящим, что «прошед-

\* См.: Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 66–82; перепечатано в кн.: *Кожин Вадим. Размышления о русской литературе.* М., 1991. С. 161–189.

\*\* См.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 615–618.

шее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет»\*.

Как уже говорилось выше, чаадаевские «обвинения» относились, в сущности, не к России, но к ее национальному самосознанию, которое, по мнению мыслителя, заведомо недостойно такого народа, как «русский народ, великий и мощный» (см. его приведенные выше слова 1832 года); «преувеличивая», он утверждал даже, что русское самосознание еще не существует вообще.

И в чем уж Герцен и все поверившие ему были абсолютно, заведомо не правы — в том, что для России, с точки зрения Чаадаева, «будущего вовсе нет». Чаадаев исповедовал *прямо противоположное убеждение*.

Прежде чем цитировать его соответствующие высказывания, следует сделать одно существенное пояснение. Те, кто рассуждал о Чаадаеве, зная не только его первое «письмо» (таких, увы, было не столь уж много...), неизбежно сталкивались с всецело противоречащими «общепринятой» версии тезисами мыслителя. И чаще всего их пытались толковать как якобы позднейшие «отступления», вызванные начавшимися в 1836 году гонениями, которые-де «сломили» Чаадаева и т. д. Чтобы исключить такого рода соображения, я буду основываться на сочинениях мыслителя, созданных *до опубликования* его «письма».

В 1833 году — то есть за три года до публикации первого «письма» — Чаадаев писал: «...мы, русские, подвигаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся несомненно. Пройдет немного времени, и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удачную почву для своего осуществления и воплощения в людях, *чем где-либо*»\*\*. Эту уверенность Чаадаев высказывал многократно.

1834 год: «Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих ум европейцев»\*\*\*.

1835 год: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача — дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе... она (Россия. — В. К.), на мой взгляд, получила в удел задачу — дать в свое время разгадку человеческой загадки... Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас (после русских

\* Герцен А. И. Указ. соч. Т. 5. С. 139.

\*\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 79. — Выделено мною. — В. К.

\*\*\* Там же. С. 89.

побед 1812—1815 годов. — В. К.) являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу»\*. Сразу же после опубликования первого «письма», в конце 1836 года, Чаадаев еще раз подчеркивал: «...у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судьей по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества»; для этого, пояснял Чаадаев, «нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в его готовом виде, каким его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю возможную пользу»\*\* — то есть выработать национальное самосознание.

Горделивый «прогноз» Чаадаева с несомненностью осуществился уже хотя бы в том, что вскоре начали свой творческий путь Достоевский и Толстой, действительно представшие как «настоящий совестный суд перед великими трибуналами человеческого духа», — что давно признано всем миром.

И приведенные высказывания мыслителя (а их можно бы значительно умножить) начисто опровергают не раз повторенное герценовское утверждение, согласно которому у России, с точки зрения Чаадаева, «нет будущего».

Здесь следует вернуться к речи Александра Блока, с упоминания о которой я начал свою статью. Поэт говорил, что «лепет» Белинского «над смертным одром» Пушкина «казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа... Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так». И добавил: «...приговор по этому делу — в руках будущего историка России»\*\*\*.

Ныне есть все основания утверждать, что такое внешне парадоксальное «сближение» Белинского и шефа жандармов Бенкендорфа или, скажем, Герцена и министра просвещения в 1833—1849 годах графа Уварова вполне уместно. И в том и в другом случае речь идет об отношении политики к культуре. Уваров в

\* Там же. С. 92, 99.

\*\* Там же. Т. 1. С. 534, 535.

\*\*\* Блок. Указ. соч. Т. 6. С. 166.

докладной записке Николаю I от 20 октября 1836 года определил чаадаевское «письмо» как «прямое обвинение прошлого, настоящего и будущего своей родины»\*, а Герцен позднее назвал «письмо» (почти в тех же словах!) «обвинительным актом против России», в котором Чаадаев «проклинает свою родину в ее прошлом, настоящем и будущем»\*\*. Разумеется, Уваров гневно осуждал, а Герцен, напротив, одобрял «письмо»; но это различие объясняется, в сущности, тем, что первый политик находился у власти, а второй только стремился к ней (если бы Герцен оказался у власти, он, конечно же, не стал бы одобрять проклятия и настоящего, и будущего той страны, которой он правит...).

Главное же в том, что и Герцен, и Уваров в равной мере свели чаадаевскую мысль к прямолинейному «обвинению» России...

\* \* \*

Выше упоминалось, что Чернышевский, ознакомившись не только с первым «письмом» Чаадаева, склонен был причислить мыслителя не к западникам, а к славянофилам. Но это было столь же неверно, как и отнесение мыслителя к западникам. Чаадаев, подобно Пушкину, не принадлежал ни к тому, ни к другому «лагерю»; он, если угодно, возвышался над прискорбным расколом русской мысли, от которого, кстати сказать, начиная с 1840-х годов было очень нелегко удержаться.

В основе этого раскола лежало, в частности (или даже прежде всего), «оценочное» сравнение Запада и России, более или менее явная постановка вопроса о том (если выразиться наиболее кратко и наиболее просто), что «лучше» — Запад или Россия. Конечно, далеко не всегда вопрос этот ставился прямолинейно и категорически, но все же он с несомненностью проступает, скажем, в спорах Белинского и Хомякова, Добролюбова и Аполлона Григорьева и даже позднего Владимира Соловьева и Николая Страхова и т. д.

Между тем в творчестве — в том числе и в публицистике — Пушкина нет такого оценочного сопоставления Запада и России; и там, и здесь поэт видит свою истину и свою ложь, свое добро и свое зло, свою красоту и свое безобразие, свою святость и свою греховность. Об этой основополагающей для творчества

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 529.

\*\* Герцен. Указ. соч. Т. 8. С. 172.

Пушкина «беспристрастности» верно и глубоко сказано в последние десятилетия в трудах В. С. Непомнящего\*.

Но то же самое с полным правом можно сказать и об историософии Чаадаева. Мыслитель, например, исключительно высоко ценил воплощенность христианских идей в социальном бытии и самом повседневном быте Запада и не находил такой воплощенности в России. И, между прочим, именно эта сторона, этот аспект историософии Чаадаева особенно способствовали причислению его к западникам. Поскольку религиозные, христианские проблемы занимают преобладающее место в мысли Чаадаева, «западничество» стали усматривать в его приверженности (как мы увидим, мнимой) к католицизму, а не к русскому православию.

В действительности же Чаадаев утверждал «равноправие», равноценность православия и католицизма. Поэтому он, например, оспаривал Тютчева, который был склонен (хотя и не являлся последовательным представителем славянофильства)\*\* отрицать полноценность католицизма. Чаадаев писал о Западе: «Если “церковь устроилась там как царство мира сего” (выделенные Чаадаевым слова — цитата из статьи Тютчева «Папство и римский вопрос». — В. К.), это было потому, что она не могла поступить по-другому, это было потому, что ее великим призванием в этом полушарии христианского мира было спасение общества, которому угрожало варварство»\*\*\* (Чаадаев имел в виду воинственные германские племена, беспощадно сокрушившие античную цивилизацию). И, согласно убеждению мыслителя, на Западе церковь ставила своей задачей создание «христианского общества» (как сказали бы теперь, «христианского социума»).

Между тем русский народ, утверждал Чаадаев, «принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели *социальный* характер»\*\*\*\*.

Чаадаев, повторяю, восхищался западным строем жизни, в котором, по его убеждению, всесторонне воплотились, «опредметились» христианские идеи. Но он вовсе не отрицал на этом основании русскую жизнь, ибо, по его словам, поскольку «хрис-

\* *Непомнящий В.* Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983; *Он же.* Пророк: Художественный мир Пушкина и современность // Новый мир. 1987. № 1. С. 132–152.

\*\* См. об этом: *Кожин Вадим.* Тютчев. М., 1994. С. 303–307.

\*\*\* *Чаадаев.* Указ. соч. Т. 2. С. 238.

\*\*\*\* Там же. С. 190. — Выделено мною. — В. К.

тианство осталось в ней не затронутым людскими страстями и земными интересами»\*, оно сохранилось в «первоначальной чистоте». «Эта чистота, без сомнения, — утверждал мыслитель, — неоценимое благо, и она должна утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя»\*\*. И как своего рода итог: «Благословим же небо за то, что оно поставило восточную церковь в самые благоприятные в мире условия для того, чтобы жить в христианском смирении и его проповедовать, но не будем слишком строго обвинять западную церковь в честолюбии, ибо кто знает, что стало бы с восточной, окажись она в подобных условиях»\*\*\*.

Итак, Чаадаев отнюдь не возвышал католицизм над православием (и наоборот); он воспринимал их как принципиально различные, но равно имеющие право на существование христианские церкви. В связи с этим следует сказать, что, согласно представлениям Чаадаева, мышление об обществе и его истории может и должно стать «наукой» (science), которая «в области социальных идей оперирует так же беспристрастно и безлично, как... в естественных науках... Я уверен, придет время, когда мы сумеем так понять наше прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы для нашего будущего»\*\*\*\*.

Нетрудно оспорить чаадаевскую уверенность в будущем всемогуществе «науки» об обществе. Но плодотворнейшее «беспристрастие» в мышлении о России и Западе (и, конечно, о других «предметах»), безусловно, было присуще Чаадаеву, — как и Пушкину. И в этом, если угодно, выразилось превосходство «единственной культурной эпохи» над позднейшим развитием русской мысли.

Поистине великолепное «беспристрастие» воплотилось в чаадаевском отношении к сложившимся на его глазах российским западничеству и славянофильству. Совокупность его суждений об этих, как он их называл, «школах» имеет первостепенное значение. Мыслитель достаточно высоко ценил усилия и тех и других, но в то же время с замечательной меткостью говорил об их способной завести в тупик односторонности.

Слово «западник», которое тогда еще только начинало входить в язык, Чаадаев не употреблял, но цитируемое высказыва-

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 126.

\*\* Там же. С. 190.

\*\*\* Там же. С. 238.

\*\*\*\* Там же. С. 192.

ние, несомненно, имело в виду последовательных западников: «Русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — солнце Запада»\*.

Необходимо сознавать, что в отличие от славянофилов в глазах Чаадаева (это ясно видно из всего его наследия), как и в глазах Пушкина, «солнце Запада» излучало великий и покоряющий свет; однако он вовсе не считал, что оно может и должно быть и «солнцем России». Он недвусмысленно писал западному дипломату и публицисту графу А. де Сиркуру, что плодотворное духовное развитие России начнется лишь тогда, когда русское самосознание сумеет «свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета»\*\*.

И дело здесь вовсе не в том, что Запад несет в себе негативные, «дурные», ложные идеи: Чаадаев ни в коей мере не разделял этих славянофильских «оценок». Когда он говорил, что декабристы принесли с собой с Запада «дурные идеи», он явно имел в виду не сами по себе западные идеи, а их неприменимость к русскому бытию. Дело не в том, что Запад «плохой», а в том, что он — *другой...* «Исконные точки у западного мира и у нас, — писал, например, Чаадаев, — были слишком различны... Идея законности, идея права (столь беспредельно любезная западникам. — *В. К.*) для русского народа — *бессмыслица* (выделено самим Чаадаевым. — *В. К.*)... Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который составляет всю поэзию нашего существования»\*\*\*. Итак, западничество, по убеждению Чаадаева, бесперспективно.

Но не менее беспристрастно говорил Чаадаев и о славянофилах: «Чего хочет новая школа? Вновь обрести, восстановить национальное начало, которое нация по какой-то рассеянности некогда позволила Петру Великому у себя похитить... (присущее так или иначе всем славянофилам убеждение. — *В. К.*). Суцая истина — и мы первые под этим подписываемся, — что народы... не могут ни на шаг продвинуться по пути предназначенного им развития без глубокого чувства своей индивидуальности, без сознания того, что они такое; более того, лишённые этого чувства и этого сознания, они не могли бы и существовать; но именно это и доказывает ошибочность вашего учения, ибо никакой народ не утрачивал своей национальности, не пере-

\* Там же. Т. 1. С. 469.

\*\* Там же. Т. 2. С. 191.

\*\*\* Там же. Т. 1. С. 494.

став в то же время существовать; между тем, если я не ошибаюсь, мы как-никак существуем!»\*.

Уместно здесь взглянуть в нашу современность и заметить, что и сегодня есть своего рода прямые продолжатели славянофилов, усматривающие уничтожение «национального начала» в российской революции. Полтора столетия назад славянофилы, в сущности, так же толковали коренные преобразования конца XVII—начала XVIII века...

\* \* \*

В свете вышеизложенного обратимся теперь к знаменитому посланию Пушкина, в котором поэт оспаривал ряд положений первого чаадаевского «письма». Собственно, речь должна идти даже о двух текстах — черновом и более или менее беловом (который, впрочем, также не был отправлен адресату). О послании Пушкина написано немало, но, как представляется, весьма и весьма неточно. Так, едва ли сколько-нибудь основательно положение о том, что Пушкин спорит с Чаадаевым в «славянофильском» (или хотя бы близком славянофильству) духе, — о чем писал еще в прошлом веке П. И. Бартенев (см. выше), а в наши дни, скажем, известный ученый В. А. Кошелев в статье под названием «Пушкин у истоков славянофильства», — статье, где в очередной раз утверждается, что, согласно «чаадаевской концепции», русское общество будто бы «должно себя “переназначить” и “перестроить” в соответствии с воспринятыми извне культурными установлениями»\*\*, — то есть западными установлениями.

На деле перед нами характеристика вовсе не «чаадаевской концепции», а давным-давно бытующей убогой западной «концепции» о Чаадаеве — убогой хотя бы уже потому, что ее сконструировали люди, не знавшие ничего, кроме первого «философического письма». Мыслитель заявлял западному идеологу де Сиркуру (см. выше), что истинное развитие России невозможно, пока русский ум не сумеет «свергнуть иго вашей (то есть западной. — В. К.) культуры», а ему и теперь приписывают настоятельное стремление перенести в Россию западные «культурные установления»...

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 495.

\*\* Проблемы современного пушкиноведения: Сборник статей. Псков, 1994. С. 60.

Но столь же бесосновательна и попытка сблизить Пушкина со славянофильством. Хомяков был, со своей стороны, вполне прав, когда отнес Пушкина к «художникам», которые «трудились над формой и лишены были истинного содержания» \* — понятно, «содержания» в духе славянофильских идей.

Хоть как-либо связывать Пушкина со славянофилами невозможно уже потому, что он с юных лет и до конца жизни был певцом Петербурга, в котором Хомяков и его собратья видели, в сущности, нечто заведомо чуждое и даже враждебное России. К этому, правда, необходимо добавить, что Пушкин несколько не «принижал» и бесконечно ценимую славянофилами Москву, с непревзойденной проникновенностью провозглашая:

Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось!

Уже в самом осознании равноценности Петербурга и Москвы ясно выражается пушкинский дух, не грешивший какой-либо односторонностью.

Могут возразить, что преклонение Пушкина перед Петербургом — слишком слабый аргумент для доказательства его непричастности к славянофильству. Однако в пушкинском образе Петербурга воплощен богатый и вполне определенный смысл, который в конечном счете несовместим со славянофильским пониманием России. Речь идет прежде всего о верховной роли государства (средоточием и символом которого и был с начала XVIII века Петербург). В глазах славянофилов государство представляло скорее как прискорбная необходимость, нежели в качестве двигателя истории и самой цивилизации.

Между тем в своем послании по поводу первого «письма» Чаадаева Пушкин писал: «Что надо было сказать и что вы сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо... Надо было прибавить (не в качестве уступки цензуре, но как правду), что правительство все-таки единственный европеец в России» \*\*; «европеец» здесь явно означает «цивилизующее» начало.

Предлагая «прибавить», Пушкин, без сомнения, подразумевал, что Чаадаев разделяет его мысль. И в самом деле: Чаадаев тогда же, в конце 1836 года (кстати сказать, не зная пушкинского послания), написал: «Мы с изумительной быстротой достиг-

\* Хомяков А. С. О старом и новом. С. 315.

\*\* Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834—1837. Л., 1969. С. 199.

ли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется Европа... но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших государей... Посмотрите от начала до конца наши летописи — вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти... и почти никогда не встретите проявлений общественной воли»\*.

Под «обществом» и Пушкин и Чаадаев имели в виду ту (понятно, очень небольшую) часть населения тогдашней России, к которой и обращена была чаадаевская критика, вызвавшая полное согласие Пушкина («что надо было сказать и что вы сказали...»). А теперь перейдем к пушкинским возражениям мыслителю.

Чаадаев говорил (цитирую первый — 1836 года — перевод его «письма», на который и откликнулся Пушкин) о «юности» народов Запада: «Все общества проходили через этот период. Он даровал им их живейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи... Мы не имеем ничего подобного... нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях... много ли соберете вы у нас начальных идей, которые... могли бы руководствовать нас в жизни?»\*\*.

Вскоре после опубликования этого «письма», в том же 1836 году, Чаадаев четко пояснил, что он имел в виду: «История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей: чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться... Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовую и рассказывает ее... именно этой истории мы не имеем»\*\*\*.

Итак, согласно мысли Чаадаева, «изъян» истории России в том, что она представляет собой только последовательность «фактов», а не связь «идей», осуществившихся в фактах. Правда, он тут же делает очень важную «оговорку»: «...мы никогда не рассматривали еще нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих периодов нашей истории не был добросовестно оценен»\*\*\*\*.

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 537–538.

\*\* Там же. С. 649, 651, 654.

\*\*\* Там же. С. 527, 528.

\*\*\*\* Там же. С. 532.

Таким образом, утверждая, что «факты» прошлого России не проникнуты «идеями», Чаадаев был готов увидеть в этом «вину» не русской истории, а русских мыслителей (или, вернее, результат их отсутствия).

Он отметил, что «Карамзин поведал звучным слогом дела и подвиги наших государей», но вполне справедливо утверждал, что пока «история нашей страны... рассказана недостаточно... мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает»\*.

И в конечном счете именно неразработанность русской философии истории как необходимой основы национального самосознания породила резкий критический пафос Чаадаева. Он писал, например, 2 мая 1836 года по поводу декабристского бунта:

«Я много размышлял о России, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает *прежде всего* — глубины. Мы прошли века так или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина...»\*\* Особенно примечательно, что перед нами беспощадная по отношению к героям 14 декабря цитата из письма в Сибирь к старому другу Чаадаева, одному из виднейших декабристов — И. Д. Якушкину...

В том же 1836 году Чаадаев провозглашал: «Настоящая история народа начнется лишь с того момента, когда он проникнется идеей, которую он призван осуществить и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым, инстинктом, который ведет народы к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего сердца призываю для моей родины»\*\*\*.

В своем первом «письме», вызвавшем полемику Пушкина, Чаадаев определил как нечто «бессмысленное», лишенное «идеи» эпоху монгольского нашествия: это только «жестокое, унижительное владычество завоевателей»\*\*\*\*. И даже «свергнув иго чужеземное», продолжает Чаадаев, мы, «уединившись в своих

\* Там же. Т. 1. С. 532, 456.

\*\* Там же. Т. 2. С. 106. — Выделено мною. — В. К.

\*\*\* Там же. Т. 1. С. 529.

\*\*\*\* Там же. С. 644.

пустынях... не вмешивались в великое дело мира»\*, — то есть у России не было подлинного исторического «предназначения».

Пушкин решительно возразил: «Нет сомнения, — писал он, — что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие...»\*\* и т. д.

Пушкинские возражения Чаадаеву с давних пор (о чем шла речь) толкуются как «славянофильские»; но дело явно не в этом. Пушкин оспаривает чаадаевское утверждение, что «монгольская эпоха» в истории России — это-де только прискорбный «факт», в котором нет «идеи», нет «предназначения».

Таково же и другое пушкинское возражение. Чаадаев писал, что в начале истории западных народов есть «период сильной, страстной, бессознательной деятельности... Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили чрез этот период. Он даровал им... все их высшие и плодотворнейшие идеи... Мы не имеем ничего подобного»\*\*\*.

Пушкин писал об этом: «Юность России весело прошла в набегах Олега и Святослава и даже в усобицах, которые были только непрерывными поединками — следствием того брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите в вашем письме»\*\*\*\*. Еще в 1827 году Пушкин сказал: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части свой “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории»\*\*\*\*\*.

Чаадаев, конечно же, имел представление о «набегах Олега и Святослава», но, движимый своим мощным критическим пафосом, не пожелал увидеть в них смысл, который усматривал в юности народов Запада.

Итак, Пушкин спорил с Чаадаевым не о том, было ли у России историческое прошлое (а именно так обычно истолковывают их полемику), а о том, несло ли в себе это прошлое весомый смысл, «идею».

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 662.

\*\* Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 871.

\*\*\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 1. С. 649.

\*\*\*\* Пушкин. Письма последних лет. С. 199.

\*\*\*\*\* А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 416.

Необходимо отметить также, что позднее — не без воздействия плодотворно развивавшихся в России исторических исследований — Чаадаев многое воспринимал иначе. Так, например, в 1843 году он писал о монгольском иге: «...как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того чтобы разрушать народность, оно только помогало ей развиться и созреть... оно сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание»\*.

Чаадаев говорит здесь об ином смысле «монгольского периода» русской истории, чем Пушкин, но главное в том, что он теперь, через полтора десятилетия после своего первого «письма», открыл для себя этот смысл, эту «идею».

И не будет натяжкой утверждение, что, говоря с крайней резкостью об отсутствии в России национального самосознания, Чаадаев тем самым, в сущности, как бы подстегивал мыслящих русских людей (в том числе самого себя), побуждал их к постижению смысла отечественной истории.

\* \* \*

В заключение вернемся к проблеме «единственной культурной эпохи», которую сменило столь долгое — более чем полутора-вековое — время раскола русской мысли на западничество и славянофильство (термины эти я употребляю в самом широком их значении). Этот раскол настолько подчинил, даже поработил общественное сознание, что, как мы видели, в его свете непрерывно стремились и стремятся истолковать состоявшийся *до действительного раскола* спор Пушкина с Чаадаевым. Более того: суждения самого Чаадаева, явно никак не «умещающиеся» в рамках западничества, пытаются связать со славянофильством, — что делал в свое время Чернышевский, а в наши дни, например, издатель сочинений Чаадаева З. А. Каменский\*\*.

Стоит, правда, отметить, что З. А. Каменский пишет и о прямо противоположном устремлении мыслителя, утверждая, например: «Чаадаев дает развернутую критику политики русского царизма — цензуры, ограждавшей Россию от влияния освободительных идей... Запада»\*\*\* и т. п.

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 161.

\*\* См.: Там же. Т. 1. С. 69 и далее.

\*\*\* Там же. С. 76.

Выше шла речь о том, как оценивал Чаадаев усвоение этих «освободительных идей» декабристами. Но еще выразительнее другое. В 1846 году Чаадаев в письме в Париж А. де Сиркуру резко говорил об отсутствии демократических свобод в России, где, по его словам, «все направлено к порабощению личности и мысли»; ясно, что он имел в виду здесь и свою собственную судьбу. Но, как это ни неожиданно для тех, кто видит в Чаадаеве западника, он скорбит вовсе не из-за «ограждения» России от «влияния освободительных идей Запада», а по противоположной причине:

«Можно ли ожидать, чтобы при таком беспримерном в истории социальном развитии... народный ум (в оригинале письма — *l'intelligence nationale*, и, пожалуй, правильнее перевести словами «национальное самосознание». — *В. К.*) сумел свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немислимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек... Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь»\*.

Итак, Чаадаева заботили вовсе не «ограждения» на пути западных идей в Россию, а препоны развитию собственно-русского национального самосознания, хотя это вовсе не значит, что он был славянофилом.

Попытки причислить Чаадаева как к западникам, так и к славянофилам не только не соответствуют реальности, но и заслоняют от нашего взгляда великую, уникальную ценность пушкинской эпохи. Как представляется, в наше время, через восемь десятилетий после революции (устремление которой и явилось едва ли не главной причиной российского «раскола»), мы обретаем возможность так или иначе восстановить присущее пушкинской эпохе понимание соотношения России и Запада в качестве «равноправных» и равноценных исторических реальностей.

Напомню еще раз слова Пушкина: «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою... история ее требует другой мысли, другой формулы» — и Чаадаева: «...мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстаем... У нас другое начало цивилизации... нам незачем бежать за другими» и т. д. При этом, понятно, необходимо ни на миг не забывать, что и Пушкин и Чаадаев предельно высоко ценили

\* Чаадаев. Указ. соч. Т. 2. С. 191, 192.

западную культуру и цивилизацию и никогда не впадали в славянофильское принижение устоев и ценностей Европы.

Вместе с тем Чаадаев, который постоянно и глубоко изучал западную мысль, ясно видел, что в Европе совершенно не понимают России. Он писал тому же де Сиркуру: «Не могу надеяться на то, что делается с вашими наиболее серьезными мыслителями, как только они оказывают нам честь заговорить о нас. Точно мы живем на другой планете и они могут наблюдать нас лишь при помощи одного из тех телескопов, которые дают обратное изображение»\*.

Что же касается России, Чаадаев многократно говорил, что русскому взгляду (в том числе взгляду на Запад) присуще уникальное «беспристрастие». И среди его формулировок 1835 года, о том, «что Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее...»\*\*

Как всем известно, именно этот вывод из осмысления творчества Пушкина был провозглашен через сорок пять лет в великой речи Достоевского, напоминанием о которой вполне уместно завершить это сочинение.



---

\* Там же. С. 174.

\*\* Там же. С. 96.